

Robert D. Kaplan

THE REVENGE
OF GEOGRAPHY:

What the Map Tells Us
About Coming Conflicts
and the Battle Against
Fate

Роберт Каплан

МЕСТЬ ГЕОГРАФИИ

Что могут рассказать
географические
карты о грядущих
конфликтах и битве
против неизбежного

УДК ???????????

ББК ???????????

Б87

Robert D. Kaplan

THE REVENGE OF GEOGRAPHY

What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate

Перевод с английского Михаила Котова

Оформление обложки Евгения Соколова

Каплан Р.

К?? Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного / Роберт Каплан, пер. с англ. М. Котова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. — 384 с.
ISBN 978-5-389-06771-4

«География может рассказать о целях и стратегиях государства гораздо больше, чем его идеология или внешняя политика», — считает известный американский публицист и геополитик Роберт Каплан. Он убежден, что будущее стран и континентов можно понять в контексте таких объективных параметров, как климат, территория, наличие водных ресурсов, разнообразие ландшафта. Проследивая историю регионов, стран и «горячих точек» планеты, автор предлагает собственную целостную теорию о грядущем цикле конфликтов, которые будут происходить по всей Евразии — в Европе, России, Китае, Турции, Иране, на арабском Ближнем Востоке. Каплан опирается в своем исследовании на современные научные данные и на классические труды прошедшего столетия.

Он утверждает: зная географию, можно ясно увидеть те границы, переступить которые не следует. Достаточно просто подойти к карте и внимательно посмотреть на нее.

УДК ???????

ББК ???????

ISBN 978-5-389-06771-4

© Robert D. Kaplan, 2012

© Котов М., перевод на русский язык, 2015

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

КоЛибри®

Именно потому, что я не очень-то верю в то, что удел человечества переменится когда-нибудь в лучшую сторону, периоды процветания и определенного прогресса, а также стремление начать все сначала и не останавливаться на достигнутом кажутся мне истинными чудесами, которые уравновешивают собой необъятную массу зла и поражений, равнодушия и ошибок. Неизбежны новые падения, новые катастрофы; хаос будет торжествовать; но временами и порядок тоже будет брать верх*.

Маргерит Юрсенар.
Воспоминания Адриана

* Юрсенар *Маргерит*. Воспоминания Адриана. — пер. М. Ваксмахера. — М.: Радуга, 1988.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Пролог. Границы</i>	9
------------------------------	---

Часть I. Провидцы

<i>Глава 1. От Боснии до Багдада</i>	23
<i>Глава 2. Мечь географии</i>	44
<i>Глава 3. Геродот и его преемники</i>	60
<i>Глава 4. Карта Евразии</i>	83
<i>Глава 5. Нацистское искажение</i>	101
<i>Глава 6. Идея «Римленда»</i>	111
<i>Глава 7. Привлекательность морской силы</i>	125
<i>Глава 8. «Кризис пространства»</i>	136

Часть II. Карта начала XXI в.

<i>Глава 9. География Европы</i>	153
<i>Глава 10. Россия и независимый «Хартленд»</i>	173
<i>Глава 11. География китайской мощи</i>	200
<i>Глава 12. Географическая дилемма Индии</i>	245
<i>Глава 13. Иранская «Ось»</i>	271
<i>Глава 14. Бывшая Османская империя</i>	302

Часть III. Судьба Америки

<i>Глава 15. Бродель, Мексика и военно-политическая стратегия</i>	337
<i>Примечания</i>	366

ПРОЛОГ

ГРАНИЦЫ

Вопросы о будущем хорошо задавать, имея возможность не спеша путешествовать по странам и континентам...

Когда на горизонте показались первые холмы, куполами возвышавшиеся посреди пустыни на севере Ирака, за которыми располагалась гряда гор-трехтысячников, поросших дубами и рябиной, мой водитель, курд по национальности, обернулся, взглянул на расстилавшуюся иссушенную равнину и процедил с презрением: «Арабистан». Затем, посмотрев на холмы, с восторгом прошептал: «Курдистан», — и его лицо засияло. Шел 1986 г., рассвет режима Саддама Хусейна в Ираке...

Но стоило нам углубиться в тесные, подобно тюремным камерам, долины, в запретные ущелья, как вездесущие щиты с ликом диктатора внезапно исчезли, а вместе с ними и иракские солдаты. На смену им пришли курдские *pesh mergas* — воины в тюрбанах, одетые в мешковатые штаны, подпоясанные кушаком, с нагрудным патронташем, идущие на смерть за независимость Курдистана. Если следовать политической карте мира, то мы не покидали территорию Ирака, но даже Саддаму Хусейну было не под силу победить горы.

Горы по сути своей консервативны. В узких ущельях они сохраняют местные культуры в первозданном виде, оберегая их от агрессивных современных идеологий, которые слишком часто отравляли жителей равнин, а в наше время они еще и предоставляют убежище идеологическим

повстанцам и наркоторговцам [1]. Антрополог Йельского университета Джеймс Скотт утверждает, что «народности, проживающие в горах, зачастую представляются как беглецы, изгои, как сообщества отшельников, которые на протяжении вот уже двух тысячелетий спасаются от притеснений и гонений, неизбежно сопровождающих образование государств в долинах и на равнинах [2]. Именно на равнине реакционный режим Николае Чаушеску впился в глотку местному населению. Я несколько раз бывал в Карпатах в 1980-х гг., и мне редко где доводилось видеть признаки коллективизации. Для этих гор, именуемых «задней дверью» Центральной Европы, характерны были в большей степени дома, возведенные из дерева и камня, а не из железобетона — любимого строительного материала эпохи Чаушеску.

Карпаты, опоясывающие Румынию, являются такой же границей, как и горы Курдистана. Начав свое путешествие по Карпатам с запада, со стороны мрачной и таинственно пустынной венгерской Пушты с угольно-черной почвой и океаном лимонно-зеленой травы, я постепенно прощался с европейским миром, созданным некогда блистательной Австро-Венгерской империей. Теперь путь мой лежал в значительно более отсталую часть планеты, где когда-то правила пришедшая к концу своей жизни в полный упадок Османская империя. Именно благодаря границе в виде Карпат и стал возможен восточный деспотизм Чаушеску, гораздо более жесткий, чем довольно формальный «гуляшкоммунизм» времен Яноша Кадара в Венгрии.

И все же Карпаты были не таким уж и неприступным бастионом. На протяжении столетий множество купцов и всякого другого торгового люда прокладывали себе и своим товарам едва заметные тропы высоко в горах, доставляя жителям гор самую различную мануфактуру, а с ней и более высокую культуру процветавшей в то время Центральной Европы. Именно таким образом по другую сторону Карпат, в таких центрах местной цивилизации, как Бухарест и Руссе, все же пустило корни робкое и очень жалкое подобие европейской культуры. Однако, вне всякого сомнения, эти горы действительно представляли собой некую переходную ступень, первую на длинной лестнице, ведущей на Восток и оканчивающейся на великой Аравийской пустыне и пустыне Каракумы.

В один прекрасный день в 1999 г. поздно вечером в столице Азербайджана, городе Баку, расположенном на западном побережье Кас-

пийского моря, я сел на торговое судно, идущее до города Красноводск* в Туркменистане — на восточном берегу Каспийского моря. Места эти в III в. н. э. персы-сасаниды называли Туркестаном. Наутро моему взору открылась довольно тонкая неясная береговая линия: белесые бараки на фоне безжизненных глинистых крутых холмов. Всем пассажирам приказали построиться в один ряд перед воротами с облупившейся краской, где один-единственный пограничник не спеша стал проверять наши паспорта. Стояла 40-градусная жара. Затем нас провели в пустой ангар, который под огненными лучами солнца раскалился до немыслимой температуры. Там другой пограничник, обнаружив мои таблетки от расстройства желудка, обвинил меня в контрабанде наркотиков. Он взял мой фонарик, достал из него батарейки и выбросил на грязный пол. Выражение его лица было таким же мрачным, как и окружающий нас ландшафт. В городе, вид на который открывался за ангаром, не наблюдалось ни одного тенистого уголка, где можно было бы спрятаться от палящих лучей солнца: удручающе однообразные горизонтальные плоскости городской застройки и ни единого намека на хоть какие-то архитектурные изыски. Я вдруг с тоской вспомнил Баку: городские стены, воздвигнутые персами в XII в., сказочные дворцы первых нефтяных королей, украшенные фризами и горгульями, — внешний архитектурный лоск западной цивилизации, который оказался невероятно живучим, несмотря на такие преграды, как Карпаты, Черное море и высота Кавказских гор. Путешествуя все дальше на восток, я видел, как Европа постепенно сдавала свои позиции, словно испаряясь под палящим солнцем. Естественная граница в виде Каспийского моря представляла собой последний рубеж, возвещающая о приближении пустыни Каракумы.

Конечно же географическое положение не доказывает полной безнадёжности положения, в котором находится Туркменистан. Скорее, в данном случае следует говорить о зарождении рациональности в поиске исторических закономерностей, связанных с постоянными вторжениями парфян, монголов, персов, царской России, Советского Союза

* В 1993 г. город переименован в Туркменбаши в честь первого секретаря Компартии Туркмении и пожизненного президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Бывшее русскоязычное название города, Красноводск, — это перевод местного топонима Кызыл-Су, из-за того что в воде Красноводского залива было много планктона с отчетливым розовым оттенком. — Здесь и далее, если не указано иное. — *Прим. ред.*

и огромного количества тюркских племен на эту голую беззащитную землю. Едва ли в таких суровых климатических условиях, на такой безжизненной земле могла полноценно существовать какая-либо цивилизация. Никому так и не удавалось надолго закрепиться в этих диких и непростых для проживания местах, которые первоначально произвели на меня далеко не самое приятное впечатление.

Местность вздымалась вверх грядой холмов, и то, что за секунду до этого казалось единой массой песчаника, рассыпалось лабиринтами пересохших речных русел и складок местности всех оттенков серого и зеленовато-коричневого. На восходе вершины холмов окрашивались бледной желтизной, а на закате приобретали красноватый оттенок. Прохладный ветерок внезапно проскользнул в автобус через некую щель, принес с собой глоток так необходимой мне свежести, позволив почувствовать приближение дыхания воздуха гор, такого желанного после удушающей жары Пешавара, в Северо-Западной пограничной провинции [3] Пакистана. Сами по себе размеры Хайберского прохода не очень-то впечатляют. Наивысшая его точка находится на высоте не более 2000 м над уровнем моря, и склоны его довольно пологи. Однако не прошло и часа пути по закрытой со всех сторон вулканической преисподней, созданной Всевышним из скал и извилистых ущелий, как я (а это было в 1987 г.) попал из богатого зеленью тропического Индостана в холодные, голые, пугающие своими пустынями бескрайние просторы Центральной Азии. Из мира чернозема, ярких тканей и полной невообразимых ароматов кухни я попал в страну песка, грубой шерсти и козлиного мяса.

Но, подобно Карпатам, через перевалы которых торговцы переносили культуру из одной страны в другую, география на границе между Пакистаном и Афганистаном также не преминула преподать человечеству немалый урок. То, что англичане первыми назвали Северо-Западной пограничной провинцией, исторически никакой ни пограничной, ни провинцией не было и в помине, как считает Сугата Бозе, профессор из Гарварда. А были эти места центром, можно даже сказать, сердцем «индийско-персидского» и «индийско-исламского» мира. Именно так и можно объяснить, почему Афганистан и Пакистан в целом воспринимаются многими историками как единое органичное целое, хотя на политической карте мира это два разных государства [4].

Хотя существовали в истории человечества еще более искусственные и нелепые границы...

По пути в Восточный Берлин в 1973 и 1981 гг. мне дважды довелось пересечь Берлинскую стену. Бетонное ограждение высотой 3,6 м, увенчанное широкой трубой, с западной стороны отсекало кварталы турецких и югославских иммигрантов — будто бы запечатленные на черно-белой пленке унылые картины бедности. С восточной же стороны взору открывались заброшенные здания с многочисленными шрамами Второй мировой войны на фасадах. С запада в любом месте можно было подойти и прикоснуться к стене, разукрашенной граффити. С востока путь преграждали минные поля и сторожевые вышки, на которых дежурили автоматчики.

Каким бы сюрреалистическим ни казался этот тюремный двор посреди города в самом центре Европы, в то время никому он не казался противоестественным, так как все были убеждены в том, что холодная война никогда не закончится. Особенно в это верили люди моего поколения, выросшие во время холодной войны и не видевшие своими глазами Вторую мировую. Для нас, каким бы произволом, какой бы несправедливостью стена ни казалась, она стояла «на века», подобно некой горной гряде, возникшей в природе много тысяч лет назад. Историческая правда всплывала лишь из книг и старых политических карт Германии, которые (во многом по воле случая) я начал изучать в первые месяцы 1989 г., находясь на редакционном задании в Бонне. Книги и карты поведали мне вот о чем...

Находясь в самом центре Европы, между Северным и Балтийским морями с одной стороны и Альпами — с другой, немцы, согласно историку Голо Манну, всегда представляли собой некую динамическую силу, замкнутую в «большую тюрьму». Эта немецкая сила изо всей мочи старалась найти себе выход. Но, будучи ограниченными с севера и юга морем и горами, вырваться немцы могли, только двинувшись на восток или на запад, где серьезных географических препятствий не наблюдалось. «Что характерно для Германии на протяжении вот уже 100 лет, так это отсутствие постоянных границ, нестабильность ее территории», — пишет Манн. Он имеет в виду беспокойный век с 1860-х по 1960-е гг., отмеченный вначале увеличением территорий при Бисмарке, а затем катастрофическими результатами двух миро-

вых войн [5]. Но абсолютно то же можно сказать о размерах и границах Германии практически на протяжении всей истории ее существования.

Первый рейх был основан Карлом Великим в 800 г. и представлял собой огромную, не имеющую постоянных размеров территорию. В разное время он включал в себя современные Австрию, части Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Польши, Италии и Югославии. Казалось, самой судьбой было предназначено, чтобы Европой управляли с той территории, которая сейчас соотносится с Германией. Но вот по прошествии веков приходит Мартин Лютер и вносит раскол в западное христианство Реформацией, что, в свою очередь, разжигает костер Тридцатилетней войны, которая в основном прошла каленым железом именно по территории Германии. В результате вся Центральная Европа — в руинах. В ходе своего редакционного задания мне пришлось изучить много материалов о немецком противостоянии XVIII в. между Пруссией Гогенцоллернов и Австрией Габсбургов. Я прочел множество документов о таможенном союзе различных немецких государств первой половины XIX в., об объединении Германии Отто фон Бисмарком вокруг Пруссии в конце XIX в. И чем больше я читал, тем становилось понятнее, что Берлинская стена — это всего лишь очередной этап в продолжающемся процессе территориальных преобразований великого германского государства.

Режимы, прекратившие свое существование после падения Берлинской стены (в Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и т.д.), я знал не понаслышке. Я там бывал и в командировках, и в качестве туриста. Вблизи такие монолитные, такие устрашающие. Их скоротечное падение послужило для меня сигналом, преподало мне очередной урок, не только подчеркнув реальную слабость диктатур, но и показав, насколько мимолетно настоящее, каким бы вечным оно ни казалось. Единственное, что остается всегда неизменным, — расположение народов на карте мира. Во времена смуты, военных переворотов политические карты приобретают особую важность. Когда под чьими-то сапогами рушатся устои власти, карта, хотя и не являясь определяющим фактором, тем не менее представляет собой источник мудрости, начало понимания исторической логики событий, возможности предугадать, что может произойти дальше.

Главное впечатление от демилитаризированной зоны (ДМЗ) между двумя Кореями можно выразить одним словом: насилие. В 2006 г. я видел, как южнокорейские солдаты стоят, окаменев, будто бойцы тхеквондо: сжав кулаки, согнув руки в локтях, уставившись на лица своих северокорейских врагов. С каждой стороны для этого задания были отобраны самые высокие солдаты самого устрашающего вида. Однако показательная ненависть друг к другу, результатом которой стали многочисленные заграждения из колючей проволоки и минные поля, в будущем, хоть и не близком, но все же станет историей. Если взглянуть на сценарии, по которым развивались события в других разделенных странах в XX в. (Германия, Вьетнам, Йемен), становится ясно, что, как бы долго ни просуществовали они порознь, победа оказывалась на стороне объединяющего начала и зачастую это происходило насильственно и стремительно. ДМЗ представляет собой искусственную границу безо всякой географической логики, которая делит этнически единую нацию в том месте, где две противоборствующие армии решили передохнуть. Подобно тому как была объединена Германия, когда-нибудь объединится и Корея. Мы можем ожидать этого или хотя бы помнить об этом, строя планы. Вновь на определенном этапе доминантными окажутся культура и география. Искусственные границы, которые не совпадают с границами естественными, как правило, чрезвычайно уязвимы.

Мне неоднократно доводилось пересекать границы между такими непростыми соседями, как Иордания и Израиль, Мексика и США, равно как и многие другие границы между самыми разными государствами. Но сейчас я зову читателя в другое путешествие (иное по своей природе) по выбранным страницам истории и политологии, которые дожидались нас на протяжении десятилетий, а в некоторых случаях и столетий. Они, эти страницы, и знание географии дадут нам возможность лучше понимать политическую карту мира, читать «между строк», видеть, пусть еще нечетко, контуры политического будущего тех или иных регионов. За минувшие годы я пересек немало границ и стал интересоваться судьбой государств, через которые мне доводилось странствовать.

Собственная журналистская деятельность на протяжении 30 лет убедила меня, что всем нам нужно вернуть восприимчивость к понятиям времени и пространства, которая была утеряна в эпоху реактивных скоростей в информационный век, когда некие влиятельные граж-

дане летают через океаны и континенты за считанные часы, рассказывая нам затем о «плоском мире»*. Это не для меня. Я познакомлю читателя с решительно немодными мыслителями, которые выступают категорически против тезиса, что *география больше не имеет никакого значения*. В первой части нашего литературного путешествия я постараюсь изложить основные положения их теорий, опустившись в них на максимальную глубину, чтобы во второй части применить их мудрость на практике, проанализировать уже случившееся и предугадать будущее Евразии — от Европы до Китая, включая Ближний и Дальний Восток и Индостан. Осознать, что утрачено нами в понимании физической реальности, узнать, как оно было утеряно, восстановить его, замедлив темп путешествия и размышлений, прибегнув к богатой эрудиции уже ушедших от нас ученых, — вот главная цель нашего похода.

География в переводе с греческого языка означает «описание земли». Это слово всегда ассоциировалось с определенной данностью и, следовательно, носило на себе определенное клише. Говорят, «мыслить географически» — означает ограничивать свой выбор средств к пониманию окружающего нас мира. Но, я полагаю, что работа с таким инструментарием, как карты рельефа и сводки демографических исследований, позволит выйти на новый уровень сложности в анализе внешней политики и таким образом обнаружить возможность более глубокого и широкого понимания мира. Вам нет нужды становиться фанатом географии, чтобы осознать всю ее важность. Чем больше мы занимаемся текущими делами, тем больше для нас важны люди и их поступки; но если мы обратим свой взгляд в историю, то тут же становится очевидной та важная роль, которую играет география.

Удачный пример тому — Ближний Восток.

Пока я пишу эти строки, огромный регион от Марокко до Афганистана находится в эпицентре сильнейшего политического кризиса, в котором оказались местные правящие круги. Население этих стран

* Намек на книги известного американского журналиста Томаса Фридмана «Плоский мир. Краткая история XXI века» («The World Is Flat: A Brief History of The Twenty-first Century») и «Жаркий, плоский, многолюдный: Кому нужна “зеленая революция” и как нам реконструировать Америку» («Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution-And How It Can Renew America»), посвященные глобализации.

больше не хочет мириться с авторитарными режимами, хоть и путь к демократии далеко не так сладок. Первая фаза развития конфликта на Ближнем Востоке засвидетельствовала поражение географии из-за огромного влияния коммуникационных технологий. Спутниковое телевидение и социальные сети, бурлящие революцией в интернете, создали единое пространство людей, протестующих в арабском мире. Таким образом, сторонники демократии в таких, казалось бы, разных государствах, как Египет, Йемен и Бахрейн, могут за считанные минуты почерпнуть революционное вдохновение от событий, происходящих в Тунисе. Следовательно, можно говорить об общности политической ситуации во всех этих странах. Но по мере того, как разворачивались протесты, становилось очевидно, что в каждой из этих стран ситуация развивается по-разному, что, в свою очередь, обусловлено историей и географией данной страны. Чем больше мы узнаем об истории и географии государств Ближнего Востока, тем меньше мы удивляемся происходящим там событиям.

Тот факт, что народные волнения начались именно в Тунисе, можно считать случайностью лишь отчасти. На карте, отображающей состояние дел во времена Античности, четко видна концентрация поселения людей в местах, где сегодня расположено государство под названием Тунис. С другой стороны, на территории современной Ливии, равно как и на территории Алжира, в античные времена люди практически не жили. Выдаваясь своими землями вглубь Средиземного моря, по направлению к Сицилии, Тунис был центром Северной Африки не только во времена Карфагена и Древнего Рима, но и при вандалах, Византии, средневековых государствах арабов и турков. Когда Алжир на западе, а Ливия на востоке только начинали зарождаться как государства, Тунис уже слыл центром цивилизации с многовековой историей. (Что касается Ливии, то ее западный регион — Триполитания — был на протяжении истории ориентирован на Тунис, в то время как восточный регион — Киренаика-Бенгази — ориентирован на Египет.)

В течение не одного тысячелетия, чем ближе к Карфагену (территория современного Туниса, за некоторым исключением), тем выше уровень развития. Урбанизация в Тунисе продолжается вот уже 2000 лет, в то же время развитие племенной идентичности, основанной на номадизме (который, кстати, по мнению средневекового историка Ибн Хальдуна, подрывал политическую стабильность), становится все меньше. Действительно, после того как в 202 г. до н.э. римский полководец

Сципион Африканский разбил Ганнибала за пределами Туниса, он вырыл демаркационный ров — *fossa regia*, — который отмечал границы цивилизованного мира. Граница эта актуальна на Ближнем Востоке и сегодня. Кое-где еще различимая, она проходит от Табарки, города, расположенного на северо-западном побережье Туниса, на юг, поворачивая непосредственно к Сфаксу, еще одному средиземноморскому порту на востоке. Города, оказавшиеся за этой линией, испытывали на себе меньшее влияние Рима, и сегодня они продолжают оставаться более бедными, менее развитыми, с исторически более высоким уровнем безработицы. Городок Сиди-Бузид, где в декабре 2010 г. началось арабское восстание, когда продавец из овощной лавки поджег себя в знак протеста, расположен как раз за линией Сципиона.

Тут нет никакого фатализма. Я всего-навсего ввожу текущие события в историко-географический контекст: арабское восстание началось в тех местах, которые исторически наиболее развиты в арабском мире и ближе всего расположены к Европе. Однако беспорядки начались в той части государства, которая со времен Античности игнорировалась и как результат оставалась на более низком уровне экономического развития.

Такого рода знания могут помочь в понимании того, что происходит и в других частях Ближнего Востока: будь то в Египте — еще одном очаге цивилизации с такой же длинной историей государственности, как и Тунис; или, к примеру, в Йемене, демографическом центре Аравийского полуострова. Стремление этой страны к единству подрывается слишком растянутой территорией и гористым рельефом. Эти два фактора сильно ослабляют центральную власть в государстве и, таким образом, повышают роль племенных структур и сепаратистских группировок в управлении страной. Или возьмем в качестве другого примера такую страну, как Сирия, чья усеченная форма на карте в реальности хранит в себе различия, основанные на этническом происхождении и вероисповедании людей, здесь живущих уже на протяжении многих веков.

География отчетливо показывает, что Тунис и Египет естественным образом связаны между собой. В меньшей мере связанными являются Йемен, Сирия и Ливия. Следовательно, Тунис и Египет нуждаются в умеренной авторитарной власти, чтобы сохранять целостность, в то время как Ливия и Сирия нуждаются в более жестких формах правления. А вот относительно Йемена можно сказать, что в силу географических особенностей управлять этим государством исключительно

трудно. Йемен был и остается тем, что европейские ученые XX в. Эрнест Геллнер и Робер Монтань назвали сегментарным обществом. Это край с типичным для Ближнего Востока ландшафтом: горы и пустыни. Кидаясь из одной крайности в другую (к примеру, от централизации к анархии), такие общества, по словам Монтаня, характеризуются режимами, высасывающими жизнь из региона, хотя и ввиду собственной хрупкости неспособными закрепиться на длительный срок. Тут сильны племена, а центральная власть достаточно слаба [6]. Попытки установить либеральный режим в таких местах не должны быть оторваны от специфики реалий.

Чем больше мы уважаем карты, тем меньше мы делаем ошибок, не только принимая решения, когда вмешиваться, а когда не стоит этого делать, но и планируя вторжения или военные операции, когда все-таки решим принять участие в конфликте.

По мере того как возрастает количество политических протестов и волнений, а мир все труднее поддается контролю, возникают бесконечные вопросы, как США и их союзники должны ответить на брошенный им вызов. География открывает путь к осмысленному ответу. Разворачивая старые карты, прислушиваясь к словам географов и геополитиков прошлых эпох, я хочу докопаться до правды в процессе XXI в., как делал это в конце XX столетия. Ведь даже если мы посылаем спутники за пределы Солнечной системы, даже если киберпространство не знает границ, то горы Гиндукуш* все еще остаются грозным гигантским барьером.

* Гиндукуш — одна из высочайших горных систем Азии на стыке Памира, Каракорума и Гималаев, простирающаяся с юго-запада на северо-восток по территориям Афганистана, Таджикистана и Пакистана на 700 км.

ЧАСТЬ I
ПРОВИДЦЫ

ГЛАВА 1

ОТ БОСНИИ ДО БАГДАДА

Для того чтобы снова в полной мере ощутить географию планеты, мы должны вернуться к тому моменту в новейшей истории, когда это чувство было потеряно, понять, почему так произошло, и разобраться в том, как это изменило наши взгляды на окружающее. Конечно, чувство это притуплялось постепенно. Но наиболее отчетливо его утрата стала ощутимой для меня сразу после падения Берлинской стены. Разрушение этой искусственной границы должно было заставить нас с большим уважением относиться к географии и географической карте мира. Оно также должно было изменить наше отношение к событиям на Балканах и Ближнем Востоке, которые эта карта могла бы помочь предвидеть. Однако падение Берлинской стены все же не позволило разглядеть географические преграды, все еще разделяющие нас или те, с которыми нам еще суждено было столкнуться.

Неожиданно мы очутились в мире, где разрушение созданной человеком границы, разрезающей на две части Германию, породило мнение, что все, что разделяет людей, можно преодолеть. Что демократия покорит и Африку, и Ближний Восток, как это произошло в Восточной Европе. Что «глобализация», слово, которое совсем скоро стало доноситься отовсюду, — это новый вектор в истории человечества и система международной безопасности, а не то, чем она являлась на самом деле: всего лишь очередной экономической и культурной стадией развития цивилизации. Просто представьте: только что была повержена тоталитарная идеология, в то время как система внутренней безопасности

в США и Западной Европе воспринималась как должное. Везде воцарилась видимость мира.

С удивительной проницательностью передавая дух того времени, за несколько месяцев до падения Берлинской стены бывший заместитель начальника Отдела стратегического планирования Госдепартамента США Френсис Фукуяма опубликовал статью под названием «Конец истории», в которой утверждалось, что, хотя в мире еще будут происходить войны и вооруженные восстания, история в гегелевском ее понимании уже окончена, поскольку успешность капиталистических стран с либерально-демократическим режимом положила конец спорам о том, какая из форм правления больше подходит для человечества [1]. Таким образом, вопрос был только в том, чтобы перекроить мир по нашему образу и подобию, иногда при помощи американских войск, что в 1990-х не вызывало бурных протестов общества. Эта первая стадия осознания мира после окончания холодной войны была наполнена иллюзиями. То было время, когда слова «реалист» и «прагматик» были ругательными, неся в себе отвращение к военному вмешательству во имя гуманных целей в тех местах, где национальные интересы, в их общепринятом и узком понимании, казались неясными. Куда лучше было называться «неоконсерватором» или «либералом-интернационалистом», поскольку их считали хорошими, умными людьми, которым только и хотелось, что остановить геноцид на Балканах.

В США и раньше случались такие вспышки идеализма. После победы в Первой мировой войне солидную популярность приобрело «вильсонизанство». Это понятие, ассоциируемое с именем президента Вудро Вильсона, как оказалось впоследствии, имело мало общего с реальными целями европейских союзников США в войне и еще меньше — с насущными проблемами Балкан и Ближнего Востока. Как потом показали события 1920-х гг., демократия и освобождение от господства Османской империи в том регионе означали главным образом обострение национального самосознания среди народов в отдельных частях бывшей империи. Нечто подобное произошло и по окончании холодной войны, которая, как казалось многим, должна была просто принести свободу и процветание под знаменами «демократии» и «свободного рынка». Многие предполагали, что даже Африка, беднейший и наименее стабильный континент, также изнывающий под бременем искусственных границ, противоречащих логике, могла оказаться на пороге демократической революции. Казалось, распад Советской империи

в самом сердце Европы имел первостепенное значение для наименее развитых стран мира, отделенных от СССР тысячами километров моря и пустыни, но в пределах досягаемости для сигнала телевидения [2]. Тем не менее, как и после окончания Первой и Второй мировых войн, конец холодной войны принес человечеству куда меньше демократии и мира, нежели последующая борьба за существование.

Кто бы мог подумать, что демократия и новые формы правления на самом деле станут возникать как раз в отсталой Африке. Но их зарождение перемежалось затяжной и непростой борьбой, с анархией и государственными переворотами, а иногда и откровенными злодеяниями (как, например, в Руанде). Африке пришлось пройти долгий путь от 9 ноября 1989 г. до 11 сентября 2001 г. — от падения Берлинской стены до терактов «Аль-Каиды» в Пентагоне и Всемирном торговом центре. Этот путь длиной в 12 лет, наполненный массовыми убийствами и запоздалыми гуманитарными миссиями, разочаровывал интеллигенцию с ее идеалистическими взглядами на устройство мира. С другой стороны, некоторый успех военного вмешательства Запада в происходившие в Африке трагедии вознес эту «идеалистическую чрезмерную гордость за содеянное добро» к высотам, которым, к большому сожалению, суждено будет обернуться настоящей катастрофой после событий 11 сентября.

В течение 10 лет после теракта 11 сентября 2001 г. география, определенно сыгравшая свою роль в отношениях с Балканами и Африкой в 1990-х гг., внесла полную сумятицу в добрые намерения Америки по поводу Ближнего Востока. Соединенным Штатам пришлось проделать непростой политический путь от Боснии до Багдада. От ограниченной наземной операции при поддержке авиации в западной, наиболее развитой части бывшей Турецкой империи на Балканах до массированного вторжения сухопутных войск в восточной, наименее развитой ее части, в Месопотамии. Эти драматические события обозначили границы либерального мышления на Западе, одновременно повысив степень увлечения политиков к географической карте.

Холодная война на самом деле окончилась в 1980-х гг., еще до падения Берлинской стены, с возрождением термина «Центральная Европа». Несколько позднее Тимоти Гартон-Эш, журналист и ученый, работающий в Оксфордском университете, дал этому термину следующее определение: «политико-культурная противоположность “Советскому Во-

стоку» [3]. «Центральная Европа» была больше идейным образованием, нежели географической областью. Она представляла собой концентрированное воспоминание об оживленной, восхитительно суматошной и романтической европейской цивилизации, напоминающей о мощных улочках и остроконечных крышах, о винах с тонким букетом, венских кафе и классической музыке, о великодушной гуманистической традиции, вдохновлявшей острые и электризирующие течения модернистского искусства и философии. Она воскрешала в памяти Австро-Венгерскую империю, имена Густава Малера, Густава Климта и Зигмунда Фрейда, а также глубокое уважение к идеям и сподвижникам Эммануила Канта и голландско-еврейского философа Баруха Спинозы. В самом деле, понятие «Центральная Европа», помимо всего прочего, обозначало и интеллектуальный центр европейской культуры до разрушительных действий нацизма и последующей за этим идеологической раздробленности, и экономическое развитие, связанное с воспоминанием о Чехословакии перед Второй мировой войной как о стране с более высоким уровнем индустриализации, чем Бельгия. Со всем ее упадничеством и нравственным несовершенством она означала зону относительной многонациональной толерантности под крылом милостивой, хотя и с каждым годом все менее дееспособной империи Габсбургов.

На последней стадии холодной войны «Центральная Европа» была на короткое время воскрешена в памяти профессором Принстонского университета Карлом Шорске на страницах его классического труда «Fin-de-Siecle Vienna: Politics and Culture» («Вена на рубеже веков. Политика и культура»), а также итальянским писателем Клаудио Магрисом в его великолепной книге-эссе «Danubio» («Дунай»), сентиментальном путешествии от истоков великой реки до Черного моря. Для Магриса «Центральная Европа» — это чуткость, восприимчивость, которая «предполагает защиту от любого тоталитарного зомбирования». Для венгерского писателя Дьердя Конрада и чешского писателя Милана Кундеры «Центральная Европа» обозначает нечто «благородное», универсальный ключ, позволяющий сделать либеральными политические устремления [4].

Понятие «Центральная Европа» в 1980–1990-х гг. подразумевало, что географический фактор связан с культурой в той же степени, что и с горными хребтами, и определенно так же сильно, как с советскими танками. Идея «Центральной Европы» была ответом географии на холодную войну, в которой термин «Восточная Европа» относился к той

половине Европы, которая была тесно связана с СССР. Восточная Германия, Чехословакия, Польша и Венгрия — все эти страны справедливо считались частью «Центральной Европы» и поэтому не должны были оставаться в зависимости от Москвы как главного штаба стран Варшавского договора. По иронии судьбы всего несколько лет спустя, когда в Югославии вспыхнула межэтническая война, «Центральная Европа» из символа единения вдруг превратилась в символ раздора — в сознании людей «Балканы», по сути, географически переместились из «Центральной Европы» на Ближний Восток.

Балканы всегда несли на себе печать сходства с Турецкой и Византийской империями, находившимися в окружении непокорных горных хребтов, которые преграждали путь развитию, в связи с чем эти государства имели более низкий уровень жизни. От находившихся неподалеку земель бывшей Габсбургской империи и Прусского королевства их, казалось, отделяли сотни лет развития цивилизации. На протяжении существования блока стран — участниц Варшавского договора Балканские страны, такие как Румыния и Болгария, в действительности прозябали в такой нищете и подвергались таким репрессиям, каких никогда не знала северная, «центральноевропейская» половина Советской империи. Ситуация, конечно, была осложнена определенными обстоятельствами. Послевоенная ГДР из всех стран Варшавского договора была в наибольшей степени жестко организована, в то время как в Югославии, которая формально не входила в эту организацию, имелась такая степень свободы, особенно в городах, которая была немислима, например, для Чехословакии. И все же в общем и целом страны Юго-Восточной Европы, входившие ранее в состав Турецкой и Византийской империй, были больше связаны с Советским Союзом и имели свободы меньше, нежели страны бывшей католической Европы Габсбургов, вследствие того, что правящие здесь режимы периодически допускали разного рода идеи радикального либерального популизма. В связи с этим путешествие из относительно либеральной, хотя и социалистической, Венгрии под властью Кадара в Румынию, управляемую тоталитарным режимом, возглавляемым Чаушеску, было весьма показательным.

Я совершил эту незабываемую поездку в 1980-х гг. Как только поезд пересек границу между двумя странами, то первое, что сразу же бросилось в глаза, было качество строительных материалов, из которых возводили дома в Венгрии и в Румынии. Представители румынских

властей тут же перерыли и перевернули вверх дном мой багаж и заставили дать взятку за мою пишущую машинку; бумага в туалете исчезла, а освещение стало тусклым. Влияние «Центральной Европы» на Балканы неоспоримо, но и влияние расположенного в непосредственной близости Ближнего Востока имеет здесь немалое значение. Пыльные степи с мрачными и обдуваемыми ветрами местами общественного пользования (совсем как в Малой Азии) были характерной особенностью Косова и Македонии, где не найдешь культурной праздничности и яркости, так свойственных Праге и Будапешту. Так что тот факт, что вспышка насилия наблюдалась в этнически многоликой Югославии, а скажем, не в таких этнически однородных центральноевропейских государствах, как Венгрия и Польша, вовсе не случайность и не воля неких зловещих личностей преступного мира. Здесь тоже явно не обошлось без истории и географии.

Тем не менее, выставляя «Центральную Европу» неким этическим и политическим ориентиром, а не просто географической областью, либерально настроенная интеллигенция, как, например, Гартон-Эш, один из наиболее красноречивых авторов десятилетия, предлагала идею не только Европы, а и всего мира как объединяющей, а не разобщающей силы. С этой точки зрения, не только Балканы нельзя оставлять на прозябание в условиях процветающего варварства и экономической отсталости; так по большому счету нельзя поступать ни с одним регионом на планете — с Африкой, например. Падение Берлинской стены должно не только сказаться на жизни Германии, а скорее воплотить мечту о «Центральной Европе», которую вынашивал мир. Этот гуманистический подход был сутью идеи космополитизма, мирового гражданства, который в 1990-х гг. нашел поддержку как у либералов-интернационалистов, так и у неоконсерваторов. Помнится, до того как приобрести печальную известность из-за поддержки войны в Ираке, Пол Вулфовиц и Ричард Перл были сторонниками военного вмешательства в Боснии и Косове, что, по сути, означало объединение усилий с либералами, как, например, Гартон-Эшем и журналом *New York Review of Books*, сочувствующим левым идеям. Путь в Багдад этих лет был вымощен военным вмешательством на Балканах, против чего выступали реалисты и прагматики, пусть даже эти кампании и оказались в итоге безусловно успешными.

Страстное желание спасти мусульман Боснии и Косова началось с тоски по романтической «Центральной Европе», как по реальному месту, так и по всему, связанному с ней, что в трогательных тонах рисовало

воображение. Возрождение такой «Центральной Европы» в конечном счете должно было показать, каким образом нравственность и гуманизм возвеличивают красоту.

Гуманистические труды Исайи Берлина передают дух интеллектуальной мысли 1990-х гг.

«*Ich bin ein Berliner*»* — любил говорить я, имея в виду, что я поклонник Исайи Берлина», — писал Гартон-Эш в своих проникнутых грустью мемуарах о времени, проведенном в Восточной Германии [5]. Теперь, когда марксистские утопические идеи отвергнуты как ложные, Берлин оказался идеальным отрезвляющим элементом, действующим против модных монистических теорий, которые 40 лет доминировали в академической сфере. Берлин буквальным образом ровесник XX в. Он преподавал в Оксфорде и всегда отдавал предпочтение не политическим экспериментам, а буржуазному прагматизму и «компромиссам, которые помогали приспособляться к сложившимся обстоятельствам» [6]. Он ненавидел географический, культурный и любой другой детерминизм, не желая оставлять кого бы то ни было на произвол судьбы. Его взгляды, сформулированные в статьях и лекциях, публиковавшихся на протяжении всей его жизни, часто не встречали никакой поддержки в академических кругах. В них был выражен умеренный, сдержанный идеализм, который критиковал как марксизм, так и мысль, что свобода и безопасность — удел только избранных народов и не положены другим. Его философия и идеалы «Центральной Европы» прекрасно друг друга дополняли.

И хотя та «Центральная Европа», о которой ясно говорили эти мудрые и красноречивые мыслители, на самом деле являлась благим основанием и должна была оказывать определенное влияние на внешнюю политику всех западных стран, как будет показано далее, на пути оказалось препятствие, с которым вынужден был иметь дело и я.

Есть одна проблема со всем этим восторженным идеализмом, нелицеприятный факт, который часто придавал трагическую окраску идее «Центральной Европы» на протяжении всей ее истории. Просто такого

* Игра слов, построенная на немецкой фразе *Ich bin ein Berliner* («Я — один из берлинцев») — ставшей культовой заключительной фразой из исторической речи американского президента Джона Кеннеди 26 июня 1963 г. перед Шёнебергской ратушей в Западном Берлине.

образования, как «Центральная Европа», на географической карте нет. И здесь в игру вступают сторонники географического детерминизма, чьи голоса звучат так резко и мрачно по сравнению с кротким голосом Берлина, в частности голоса человека из эдвардианской эпохи, сэра Хэлфорда Маккиндера, и его последователя Джеймса Фейргрива, для которых в идее «Центральной Европы» есть «фатальная географическая ошибка».

По мнению Маккиндера и Фейргрива, в «Центральной Европе» расположена «зона разлома», разделяющая Европу на морские державы с их «океаническими интересами» и мощным флотом и на «центральную евразийскую часть с ее континентальным вектором». Одним словом, со стратегической точки зрения «Центральной Европе» нет места на политической карте мира, по мнению Маккиндера и Фейргрива [7]. Из их трудов следует, что чрезмерное воспевание «Центральной Европы» и вполне объяснимое участие в нем либерально настроенной интеллигенции говорят лишь о передышке в эре геополитики или хотя бы о желании такую передышку получить. Тем не менее падение Берлинской стены не положило конец геополитике, да и не могло этого сделать. Это событие всего лишь ознаменовало ее новую стадию. Простым усилием воли невозможно заставить исчезнуть столкновение интересов государств и империй по всему миру.

Позже я рассмотрю работу Маккиндера более детально и уделю особое внимание его тезису о «Хартленде», о так называемом «сердце мира» или «земле сердцевины». Сейчас же достаточно сказать, что заявленная более 100 лет назад теория, как оказалось, могла объяснить ход Первой и Второй мировых войн, логику развития холодной войны. Отбросив все лишнее, мы поймем, что в ходе обеих войн решался вопрос, будет ли Германия доминировать на территории «Хартленда» в Евразии, на землях, которые располагались к востоку. В ходе холодной войны, с другой стороны, решался вопрос о доминировании Советского Союза над Восточной Европой — западной окраиной «Хартленда» у Маккиндера. Советская Восточная Европа включала в себя, кстати, и Восточную Германию, исторически — регион Пруссии, которая всегда с жадностью поглядывала на восточные земли, земли «Хартленда». А в состав НАТО входила Западная Германия, исторически католическая. Территория развитой промышленности и коммерции, Западная Германия ориентировалась на Северное море, на Атлантику. Известный американский географ времен холодной войны, Коэн отмечает, что «граница, отделя-

ющая восток от запада Германии... одна из древнейших в мире». Ведь именно там проходил раздел между племенами франков и славян. Другими словами, искусственности в разделении Германии не было. Западная часть, согласно Коэну, была «прекрасным примером прибрежной Европы», в то время как восток принадлежал «европейскому континенту». Коэн поддерживал разделение Германии как «геополитически оправданное и стратегически необходимое», так как это являлось стабилизирующим фактором в долгой войне между прибрежными и континентальными европейскими территориями [8]. Маккиндер, в свою очередь, еще в 1919 г. оставил пророческое замечание: «Граница по Германии... та самая линия, проведенная по землям, разделяющая “Хартленд” и прибрежные территории» [9]. Как видим, разделение Германии было не таким уж искусственным, в отличие от разделения Берлина, которое являлось таковым на все 100 %.

Сол Коэн называл «Центральную Европу» «пустой географической оболочкой без геополитической сущности» [10]. Объединение Германии, согласно такой логике, вряд ли привело к возрождению «Центральной Европы», скорее, к возобновлению битвы за Европу в целом, а соответственно, и за «Хартленд» Евразии. Другими словами, куда Германия в первую очередь повернет: на восток — к России, что будет иметь последствия для Польши, Венгрии и других бывших стран — сателлитов СССР, или на запад — к Великобритании и США, обеспечив победу прибрежным территориям? Мы все еще не знаем ответа на этот вопрос: слишком мало времени прошло с момента окончания холодной войны. Коэн и другие не могли с точностью предвидеть, что объединенная Германия будет отличаться изрядным пацифизмом, «неприятием военных методов разрешения проблем», которое существует на глубинном культурном уровне. В будущем, в зависимости от обстоятельств, это может помочь стабилизировать или же, наоборот, дестабилизировать обстановку на континенте [11]. Именно потому, что Германия занимает территорию в центре Европы как сухопутная держава, немцы всегда с уважением относились к географии и стратегии как к механизмам выживания. Такое отношение может помочь немцам в дальнейшем отказаться от присущего им на данный момент квазипацифизма. Вопрос на сегодняшний день стоит следующим образом, может ли объединенная Германия выступить в качестве балансирующего начала, находясь между Атлантикой и евразийским «Хартлендом», воплотив в реальность новую смелую интерпретацию культурного пространства «Централь-

ной Европы», наполнив понятие «Центральная Европа» геополитическим стабилизирующим смыслом? Это вызвало бы больше доверия к Гартону-Эшу и иже с ним, а не к Маккиндеру и Коэну.

В итоге сможет ли «Центральная Европа», идеал терпимости и цивилизованности, противостоять стремительному натиску в новой борьбе за власть на континенте? Потому что такая борьба в центре Европы неотвратима. Вызывающая живой интерес культура «Центральной Европы» конца XIX столетия, которая казалась такой привлекательной с точки зрения конца последующего, XX в., по сути, представляла собой закат лишенной сентиментальности специфической имперской и геополитической реальности, а именно — Австрии Габсбургов. Либерализм в конечном счете основывается на власти. Может быть, излишне мягкой, благодушной, но тем не менее власти.

Однако сторонники военного вмешательства в этнические конфликты 1990-х гг. не закрывали глаза на борьбу за власть, и в их глазах «Центральная Европа» утопией не являлась. Скорее реставрация «Центральной Европы» посредством прекращения массовых убийств на Балканах послужила негромким, но осмысленным призывом к грамотному использованию западной военной мощи с целью обеспечения значимости победы в холодной войне. В конце концов, чем была холодная война, как не методом обеспечить индивидуальные свободы для всех и каждого? «Для либерально настроенных интернационалистов Босния стала чем-то сродни Испанской гражданской войне наших дней», — отмечает историк, автор многих книг по международным отношениям и проблемам прав человека, биограф Берлина Майкл Игнатъевф, описывая отношения интеллигенции к войне на Балканах из собственного опыта [12].

Обращение к человеческому фактору и, как следствие, поражение детерминизма стали для них жизненно важной необходимостью. В этой связи вспоминается отрывок из «Улисса» Джойса, когда Леопольд Блум сокрушается по поводу «обстоятельств родовых, определяемых законами природы, кои отличны от человеческих»: «опустошительных эпидемий», «катастрофических катаклизмов» и «сейсмических потрясений». На что Стивен Дедал едко подтверждает «собственную значимость как сознающего и рассуждающего животного...» [13]. Но злодеяния все же случаются, так устроен мир, а потому не стоит все видеть только в темных тонах. Человек, рационально мыслящий, должен, нет, просто обязан бороться против страданий и несправедливости.

Итак, с «Центральной Европой» в качестве путеводной звезды дорога повела Запад на юго-восток, в Боснию, затем — в Косово, а дальше — в Багдад. Конечно, многие интеллектуалы, которые поддерживали интервенцию в Боснию, противились таковой же в случае с Ираком — или же как минимум были настроены довольно скептически в этом отношении. Но неоконсерваторов и прочих это не отпугнуло. Как мы увидим в дальнейшем, Балканы стали примером успешного военного вмешательства, хоть и запоздалого. Все обошлось практически без жертв со стороны военных. Поэтому многие пришли к ошибочному выводу, что ныне будущее всех войн за безболезненными победами. Минувшие 1990-е, с запоздалыми вмешательствами, были, по словам Гартона-Эша (с горькой аллюзией на Уистена Одена*), «позорным десятилетием», как и 1930-е гг. [14]. Справедливо, впрочем, что в остальном отношении они были гораздо более комфортными.

В то время, в 1990-е гг., действительно казалось, что история и география охладили многие горячие головы. Однако всего через два года после падения Берлинской стены со всеми неисторическими и всеобщими восторгами, которые последовали за вышеупомянутым событием, мировые СМИ внезапно оказались среди дымящихся руин и развалин разрушенных городов с трудно произносимыми названиями в приграничных районах бывших Австрийской и Османской империй. Эти районы назывались Славония и Военная Краина, и им довелось испытать на себе все ужасы вооруженного противостояния, которого Европа не видела со времен нацистов. От легковесных разглагольствований о глобальном единстве мировая элита теперь была вынуждена перейти к тяжелым дискуссиям о невероятно запутанной истории межэтнических отношений на местах, находящихся всего в нескольких часах езды по Среднедунайской равнине от Вены, самого сердца «Центральной Европы». Согласно географической карте, Южная и Восточная Хорватия, у реки Сава, представляют собой южную окраину Европейской равнины, которая является предвестником целого ряда горных хребтов, расположенных за рекой Сава и известных под собирательным названием Бал-

* Ссылка на поэму Уистена Одена «Сентябрь, 1, 1939», которая начинается строками: *I sit in one of the dives / On Fifty-second Street / Uncertain and afraid / As the clever hopes expire / Of a low dishonest decade...* («Я сижу в забегаловке / На Пятьдесят второй / Улице; в зыбком свете / Гибнут надежды умников / Позорного десятилетия...») — Перевод А. Сергеева).

каны. Географическая карта, на которой ясно видно большое зеленое пятно от Франции до России (от Пиренеев до Урала), вдруг на южном берегу реки Сава становится желтым, а далее коричневым, территориями, расположенным на большей высоте в юго-восточном направлении до самой Малой Азии. Этот регион, у подножия гор, был пограничьем империй Габсбургов и Османов, тут западное христианство уступает место восточному православию и исламу — тут Хорватия граничит с Сербией.

Военная Краина представляет собой бывшую буферную зону, которую создали австрийцы, пытаясь противодействовать турецкой экспансии в XVI в. Краина в те тяжелые для балканских христиан времена превратилась в убежище как для сербов, так и для хорватов, которые спасались бегством от гнета турок. Таким образом, этот регион стал полиэтничным, а с развалом Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны произошла дальнейшая эволюция моноэтнических общин. Хотя сербы и хорваты были объединены в годы между двумя мировыми войнами в Королевство сербов, хорватов и словенцев (1918–1929 гг.), во время нацистской оккупации противостояние между ними обострилось: хорватское пронацистское марионеточное государство уничтожило десятки тысяч сербов в концентрационных лагерях. После окончания Второй мировой войны сербы и хорваты еще раз оказались в одном государстве — Югославии, авторитарной коммунистической стране под руководством маршала Тито. В 1991 г. Югославия распалась, а сербские войска вторглись в Славонию и Краину, ставших местом этнических чисток, массового убийства сербами хорватов. Позже, когда хорваты вновь заняли этот регион, этнические сербы были вынуждены спасаться бегством в Сербию. С сербско-хорватской границы война перекинулась на территорию Боснии, где сотни тысяч людей были убиты с ужасающей жестокостью.

История и география тут тесно переплелись, но ни профессионалы-журналисты, ни интеллектуалы не придавали этому большого значения. На то у них были свои, подчас очень весомые причины. Во-первых, откровенный ужас и отвращение к происходящему. И снова обратимся к Гартону-Эшу:

«Какой урок мы можем вынести из событий в бывшей Югославии?.. Мы узнали, что человеческая природа не изменилась; что Европа конца XX столетия так же способна на варварство, как и во времена холокоста середины XX в. Нашими западными политическими мантрами были “интеграция”, “культурное многообразие” или, если быть несколько старомодным, “плавильный котел”. Бывшая Юго-

славия была противоположностью. Это был гигантский “сепаратор”. Вращением огромного винта разделялись народы, в то время как кровь стекала через фильтр» [15].

Вслед за этими драматическими событиями последовали обвинения в попустительстве со стороны Запада. Обвинения в потакании Слободану Милошевичу, коммунисту, который, чтоб удержаться при власти после падения Берлинской стены, сохранить виллы, охотничьи угодья и прочие привилегии, перекрасился в ярого националиста, устроив некое подобие холокоста на Балканах. Аналогия с потаканием Гитлеру в Мюнхене в 1938 г. в 1990-х стала актуальной.

На самом деле боязнь нового Мюнхенскогоговора не была нова. Именно она послужила одной из основных причин решения освободить Кувейт от оккупации страны Саддамом Хусейном в 1991 г. Не останови мы Саддама тогда в Кувейте, он бы вторгся в Саудовскую Аравию и начал контролировать добычу нефти в мировом масштабе, игнорируя права человека в регионе. Но на сербскую агрессию в Хорватии и Боснии в 1991–1993 гг. ответа не последовало. Обвинения в попустительстве снова заставили международную общественность вспомнить Мюнхен.

Аналогии с Мюнхеном вновь становятся актуальными после длительного периода мира и процветания, когда тяготы войны остались далеко позади и казались абстрактными. В частности, в 1990-х Америка уже успела подзабыть трудности наземных военных операций в Индокитае 20-летней давности. Вспоминая Мюнхен, мы начинаем мыслить глобально, заботиться о мире в целом, о жизнях других людей и часто будем слышать эти слова в ответ на неудачную попытку остановить геноцид в Руанде в 1994 г. Но вопрос Мюнхена встал ребром при подготовке военных операций НАТО, запоздалых, но эффективных, в Боснии в 1995-м и в Косове в 1999 г. Противники нашей интервенции на Балканы проводили аналогии с Вьетнамом, но риск оправдался, и именно на Балканах в 1990-е призрак Вьетнама навсегда был изгнан в небытие (или же так в то время считали и писали)* [16]. Военная сила, которую

* У меня тоже есть что сказать относительно таких запоздалых вмешательств. Моя книга «Балканские призраки» («Balkan Ghosts: A Journey Through History») оказалась одним из факторов при принятии Биллом Клинтонем решения не посылать наземные войска в 1993 г. и отложить миссию НАТО на Балканах на несколько лет. «Балканские призраки», записки из моего личного опыта пребывания на Балканах в 1980-х, впервые появились еще в процессе написания

так во времена Вьетнама ненавидели, стала синонимом мира. «Война против геноцида должна вестись со всей жестокостью, — писал Леон Визельтир, литературный редактор американского журнала о политике, литературе и искусстве *The New Republic*. — Чтоб остановить геноцид, прибегать к силе нужно в первую очередь, а не в качестве последней меры». Визельтир продолжил свое выступление против необходимости стратегий выхода из гуманитарных миротворческих операций:

«В 1996 г. Энтони Лэйк, замученный и робкий советник по безопасности президента Клинтона зашел настолько далеко, что возвел в ранг закона “доктрину стратегии выхода”: прежде чем отправлять наших солдат воевать за границу, мы должны четко представлять, как и когда мы их оттуда будем выводить. Лэйк одним из главных условий использования военной мощи США поставил условие всезнания. Доктрина «стратегии вывода» по своей сути противоречит

в *The Atlantic Monthly* перед падением Берлинской стены. Затем, в июне 1991 г., третья глава (о Македонии) вышла в *The Atlantic*. Согласно высказыванию бывшего чиновника из Госдепартамента, на которое ссылается *The Washington Post* (February 21, 2002), та статья послужила «спусковым крючком для развертывания баз миротворцев ООН в бывшей Югославии». И хотя в 1990 г. в докладе ЦРУ предупреждалось о развале Югославии, Государственный департамент это «отрицал... пока не вышла в свет статья Каплана». Так получилось, что развертывание корпуса из 1500 миротворцев в Македонии смогло предотвратить то, что позже случилось в Косове и Боснии. «Балканские призраки» были изданы книгой в марте 1993 г. Тогда же я опубликовал статью про Балканы в *Reader's Digest*, где отмечал следующее: «Пока мы не в состоянии разорвать круг ненависти и мести, силой защищая право на самоопределение и права меньшинств, победа в холодной войне бессмысленна. Любая помощь, всяческие дипломатические усилия, любая сила, если будет использоваться, должна быть направлена на освобождение народов Югославии от насилия». Вскоре я призвал к интервенции по телевидению, равно как и со страниц *The Washington Post* раздела *Outlook* от 17 апреля 1994 г., то есть за год до нашего вторжения. В «Балканских призраках» показана ужасная картина этнических взаимоотношений в юго-восточной части Европы, но ведь только в самых ужасающих случаях происходят вмешательства: никогда не следует идеализировать результат действий человека от имени и во имя всего человечества. Мы хорошо усвоили это в Ираке: если решился вмешаться, то действуй без оглядки, решительно. И хотя мои книги и статьи читали как президент, так и многие другие, никто из администрации Клинтона не связывался со мной относительно моей работы и ее применимости для принятия решений в отдельных ситуациях. — *Прим. авт.*

природе войны, а на более высоком уровне — исторической логике в целом. Во имя предосторожности она отрицает возможность случайностей в человеческих отношениях. Ведь знание о том, чем и как все закончится, не может быть дано изначально» [17].

В качестве примера Визельтир приводит Руанду, когда миллион тутси были убиты во время геноцида 1994 г.: «...трясина затягивания войск Запада в конфликт, вмешайся мы хоть как-то, чтоб предотвратить убийства, — писал он, — была бы гораздо более предпочтительна, чем то, что в итоге получилось». Визельтир, который, подобно Гартону-Эшу, был одним из моральных авторитетов десятилетия, с сожалением и разочарованием высказывался относительно ограниченности и запоздалости авиаударов НАТО с целью избавить албанцев-мусульман в Косове от политики выталкивания и уничтожения, проводимой Милошевичем. Авиаудары наносились по сербским городам, тогда как, по словам руководства миссии, было необходимо наземное военное вторжение для освобождения косовских городов. Нерешительность Клинтона стала причиной огромного бедствия. «Политика идеализма, — писал Визельтир, — свелась к преодолению последствий катастрофы. Туда, где должны были быть наши пули, мы поставляли одеяла». Клинтон, по его словам, изобрел способ ведения войны, когда «наши солдаты не умирают... трусливая война с использованием точечных технологий, которая оставляет спокойной совесть и не понижает рейтинги». Он предсказал, что «этот век неприкосновенности не продлится вечно. Рано или поздно США придется отправить своих солдат туда, где те будут страдать от ран и умирать. Что будет иметь действительно значение, так это справедлива ли высшая цель, а не насколько она опасна» [18].

На самом деле, вторжение в Ирак вышло на повестку дня в 1990-х, когда американская армия казалась непобедимой перед какими-либо силами истории и географии, было бы только достаточно времени и возможностей использовать всю полноту военной мощи, в том числе и наземное вторжение. Идеалисты громко и неистово требовали интервенции в Сомали, Гаити, Руанду, Боснию, Косово, в то время как даже реалисты типа Brenta Скоукрофта и Генри Киссинджера, известные своей бессердечностью, выступали за куда более сдержанный подход.

Хотя на самом деле 1990-е гг. не столько являлись периодом американской военной мощи в целом, сколько десятилетием полного превосходства в воздухе. Именно военно-воздушные силы сыграли решаю-

шую роль в победе над иракской армией в Кувейте в 1991 г. В этот раз география пришла на помощь высокотехнологичной войне, так как операции проводились в пустыне, где редко выпадают осадки. Решающую роль фактор воздушного превосходства сыграл и в разрешении конфликта в Боснии четыре года спустя, несмотря на все его недостатки, как и случае с борьбой против власти Милошевича. Этнические албанцы, беженцы, массово возвращались в свои дома, в то время как режим Милошевича неуклонно слабел, пока наконец не пал в 2000 г. «Мы не воюем в горах» — так в обобщенной форме звучал первоначальный отказ американских военных от участия в конфликте в Боснии и Косове. Но оказалось, что при условии полного превосходства в воздухе наши солдаты могут также превосходно воевать в горах. География было подняла голову на Балканах, но наша воздушная мощь быстро с этим справилась. Затем настал черед ВВС и морской авиации патрулировать свободные от полетов зоны, заставив Саддама добрый десяток лет сидеть в бункере. Как можно увидеть, представители политической элиты, верившие в силу американской армии, испытывали неприятие политики администрации Буша-старшего и Клинтона, когда те отказались задействовать вооруженные силы страны для спасения четверти миллиона людских жизней от геноцида на Балканах (не говоря уже о миллионе жизней в Руанде). Такие настроения могли, однако, свидетельствовать о духе авантюризма, присущего некоторым политическим деятелям. Это послужило причиной частичного отказа от проведения аналогий с Мюнхенским сговором в последующее десятилетие, равно как и восстановилось уважение к географии, утраченное было в 1990-е, когда карта рассматривалась (благодаря превосходству в воздухе) двумерно. Однако вскоре военным и политикам пришлось вновь вернуться к рассмотрению географических карт в трех измерениях — это произошло в горах Афганистана и в предательских улочках Ирака.

В 1999 г., выражая мнение либеральной части американской интеллигенции, Визельтир писал:

«Что интересно в отказе Клинтона включать в список военных целей устранение этого бандита [Слободана Милошевича], так это то, что он сам унаследовал от своего предшественника такой отказ включить в список еще одного бандита. В 1991 г. полмиллиона американ-

ских солдат стояли всего в нескольких сотнях километров от Багдада, а Джордж Буш не отдал им приказа взять город. Его генералы боялись больших потерь, они вели войну очень осторожно, не совершая никаких промахов. Они поддерживали тогда территориальную целостность Ирака, будто бы бедствия, настигшие страну после падения режима, были соразмеримы с теми ужасами, которые переживали курды на севере и шииты на юге, сохраняя страна свою целостность» [19].

Случись так, что границы «Центральной Европы» простирались бы в Месопотамию, ситуация разворачивалась бы совсем иначе. Но в 2006 г., в ходе ужасной межконфессиональной резни в Ираке, которая последовала за падением режима Саддама Хусейна, Визельтир имел смелость признаться, что «обеспокоен происходящим». Он отметил, что не может ничего сказать в оправдание своей позиции, несмотря на то что горячо поддерживает ведение военных операций. Он не был среди тех сторонников вторжения в Ирак, которые изо всех сил тогда пытались оправдаться на страницах газет [20].

Я также поддерживал войну в Ираке, в печати и как член группы, которая убеждала администрацию Буша осуществить вторжение [21]. Я был поражен американской военной мощью на Балканах, и, опираясь на утверждения, что Саддам уничтожил больше людей, чем Милошевич, и что существовала угроза наличия оружия массового поражения, я посчитал вторжение обоснованным. Кроме того, я был журналистом, который слишком близко к сердцу принимал то, о чем писал: делая репортажи из Ирака в 1980-х, я своими глазами видел, насколько режим Саддама жестче режима того же Хафеза аль-Ассада в Сирии. Я был уверен, что Саддама надо свергнуть. Лишь затем стало известно, что многие политики выступали за вторжение в Ирак, руководствуясь интересами Израиля [22]. Но мой личный опыт в общении с неоконсерваторами и некоторыми либералами свидетельствует о том, что в тот период в их рассуждениях проблемы Боснии и Косова играли более значительную роль, чем проблемы Израиля* [23]. Интервенция на Балканах, будучи

* Израиль во время событий 11 сентября 2001 г. подвергался частым террористическим атакам, поэтому вполне естественно, что Америка сочувствовала этому государству. Требования прекратить поселения на оккупированных арабских территориях возобновятся позже. Во время же подготовки к иракской войне я писал, что колы Буша ждет успех в Ираке и он останется на второй срок президентом, то он должен «прекратить владычество Израиля над тремя мил-

стратегически более привлекательной, оправдывала идеалистический подход к международной политике. Вторжение 1995 г. в Боснию сменило тему дебатов с «Нужно ли сохранять НАТО?» на «Нужно ли расширять НАТО?». Война 1999 г. в Косове и события 11 сентября 2001 г. послужили толчком к расширению НАТО до Черного моря.

Для немногих идеалистов Ирак служил продолжением их беспокойных переживаний в 1990-е гг. Однако выглядело это (хоть во многом и на подсознательном уровне) как полное пренебрежение географией, ибо военная мощь США ослепляла тогда очень многих. То было время, когда некоторые западноафриканские страны, такие как Либерия и Сьерра-Леоне, считались вполне подходящими кандидатами на установление в них демократических режимов. И это несмотря на царящее там насилие, а также на то, что в плане государственных институтов они были гораздо менее развиты, чем тот же Ирак. Но на самом деле только при скрытой поддержке вооруженных сил или, точнее, военно-воздушных сил идеи универсализма перевесили исторический и местный опыт людей, живущих на этих территориях.

Мюнхен сыграл свою роль и в подходе к тому, как быть с Саддамом Хусейном после событий 11 сентября. И хотя американцы пережили нападение на собственной территории, сравнимое с Перл-Харбором, в наземных войнах на протяжении четверти века страна обладала опытом минимальным, если не сказать — негативным. Более того, Саддам был не просто еще одним диктатором, а настоящим тираном прямо из Месопотамской древности, который к тому же обладал, как тогда считали, оружием массового поражения. В свете событий 11 сентября (как и в свете истории с Мюнхенским соглашением) нас бы не простили, если б мы промолчали, не предприняв никаких действий.

Когда боязнь повторения Мюнхена привела к переоценке собственных сил, злободневной стала еще одна аналогия, которая прежде казалась неактуальной, — Вьетнам. Так начался следующий этап интеллектуального осмысления периода истории после окончания холодной войны.

На этом этапе, который приблизительно совпадает по времени с первым десятилетием XXI в. и периодом непростых войн в Ираке и Афга-

лионами палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа»; ситуация характеризовалась мной как «исключительно постыдная». A Post-Saddam Scenario // *The Atlantic Monthly*. — Boston. — November, 2002. — *Прим. авт.*

нистане, термины «реалист» и «прагматик» приобрели позитивную коннотацию, обозначая тех, кто изначально скептически относился к американской авантюре в Месопотамии. А вот «неоконсерватизм» стал объектом осмеяния. В 1990-х гг. этнические и религиозные противостояния в отдаленных уголках планеты понимались как препятствия, которые «хорошие парни» должны были преодолеть — иначе они рисковали получить прозвище «фаталистов» или «детерминистов». Но вот уже в следующее десятилетие такие противостояния стали рассматривать как факторы, которые могли — и должны были — предостеречь нас от попыток военного вмешательства. И если хочется выбрать тот момент в истории, когда боязнь повторения Вьетнама оказалась сильнее, чем боязнь повторения Мюнхена, то это будет 22 февраля 2006 г. В этот день в иракском городе Самарра экстремистами-суннитами из «Аль-Каиды» была взорвана главная шиитская мечеть аль-Аскари, что послужило началом массовой межконфессиональной резни в Ираке, которую американские солдаты просто были не в состоянии остановить. Перед лицом ужасающей ненависти и полного хаоса наши сухопутные силы оказались абсолютно беспомощными. Миф о всемогущей американской армии, родившийся в Панаме и во времена Первой войны в Персидском заливе, немного пострадавший в Сомали, но восстановленный сполна в Боснии, Косове и на Гаити, разбился вдребезги, как и сопутствовавший ему идеализм.

В то время как история с Мюнхенским соглашением учит нас универсализму, заботе обо всем мире, о жизнях людей на всей планете, то Вьетнам — наша внутренняя боль. Это забота о себе после того, как 58 000 наших парней погибли в той войне. Вьетнам говорит нам, что избежать трагедии можно, лишь будучи готовым к худшему. Он остужает пыл, показывая, как все может пойти не так. Несомненно, именно миссионерские чувства завели США так далеко в конфликте в Юго-Восточной Азии. Америка ведь тогда жила в мире и после окончания Второй мировой войны процветала как никогда раньше. Однако в это же время Вьетнам твердо встал на путь социализма, что шло в корне вразрез с принципами нашей демократии. Какая же тогда война могла быть более справедливой, чем эта? О географии, о расстоянии, о нашем собственном ужасном опыте войны в джунглях Филиппин в еще одной «неправильной» войне за 60 лет до этого — на рубеже XX в. — при вторжении во Вьетнам об этом как-то не думали.

Вьетнам — аналогия, которая приходит на ум вслед за болью всей нации. Реализм вовсе не увлекателен и не захватывает. С ним начинаешь

считаться только после того, как отсутствие реального, трезвого взгляда на проблему значительно ухудшает ситуацию. Действительно, посмотрите на Ирак: 5000 погибших американских солдат (более 30 000 тяжело раненных) и, наверное, сотни тысяч убитых иракских жителей. Потрачено более триллиона долларов. Если бы Ирак и стал условно стабильной демократией, негласным союзником США, затраты были бы настолько большими, что, как говорят, даже в таком случае стало бы затруднительно рассматривать это как успех. Война в Ираке подорвала ключевой элемент в мышлении многих людей на планете: что Америка, мол, показывает силу только ради восстановления справедливости. Но многие после Ирака поняли, что использование силы любым государством, даже таким свободолюбивым, как США, не обязательно справедливо и добродетельно.

Восстановившееся уважение к реализму возродило интерес к философу XVII в. Томасу Гоббсу, который воздает хвалу моральным преимуществам страха, а в насилии анархии видит основную угрозу обществу. Для Гоббса боязнь насильственной смерти является краеугольным камнем просвещенного эгоизма. Установив государственный строй, люди перестают опасаться насильственной смерти — всеобъемлющего, общего страха, — заменяя его страхом смерти в случае нарушения закона. Это трудно усвоить горожанину, представителю среднего класса, который очень давно утратил связь с естественным состоянием человека [24]. Но весь ужас насилия в распадающемся Ираке, который, в отличие от Руанды и Боснии в определенном смысле, был не результатом единовременного массового истребления людей, но результатом царства хаоса, позволил многим из нас отчетливо представить себе это естественное состояние. Томас Гоббс, таким образом, стал идеологом второго этапа периода нашей истории после холодной войны, равно как Исайя Берлин был идеологом первого этапа* [25].

Чему же учит нас общий период после окончания холодной войны? Мы поняли, что тоталитаризм, с которым мы боролись десятилетия

* Гоббс и Берлин велики благодаря некоторым оттенкам их философии. Философия Гоббса, возможно, несколько искажает представления о человечестве, но ведь он был и либералом-новатором, так как в его время обновление значило разрыв со Средневековьем через установление централизованного управления, что он представил в своем «Левиафане». Подобно этому, во время становления либерального гуманизма Берлин оставался реалистом, утверждая, что поиск безопасного укрытия и еды всегда будет идти перед требованием свободы. — *Прим. авт.*

после Второй мировой войны, в редких случаях может быть предпочтительней ситуации безвластия. Оказалось, есть вещи похуже марксизма, и в Ираке мы столкнулись с ними. Я говорю это как человек, который поддерживал изменение тамошнего режима.

В марте 2004 г. я оказался в Camp Udari, военном лагере в самом сердце Кувейтской пустыни. Там как журналист я был прикреплен к батальону морской пехоты, который, как и остальные подразделения 1-й дивизии морских пехотинцев, готовились к марш-броску на Багдад и в Западный Ирак, с целью сменить 82-ю воздушно-десантную дивизию. Это был целый мир, состоящий из палаток, контейнеров, тентов-столовых, а также длинных рядов 7-тонных грузовиков и «Хаммеров», простиравшихся до горизонта, в направлении на север. Огромный масштаб участия американцев в Ираке стал скоро очевиден. Разбушевалась песчаная буря. Дул ледяной ветер. Надвигался дождь. Машины встали. Мы толком и начать не успели свой путь длиной в несколько сотен километров до Багдада, как возникли проблемы. Этот путь, который всего несколько лет назад те, кто считал, что сместить Саддама будет так же просто, как сместить и Милошевича, назвали тогда легкой прогулкой. Огромные лабиринты из гравия, пропахшие нефтью и бензином, были предвестниками первой остановки на пункте техобслуживания, одном из нескольких, сооруженных для обслуживания военного транспорта, который направлялся на север. Там же тысячи морских пехотинцев могли и перекусить. В темноте надсадно завывали двигатели и генераторы. Чтобы пересечь враждебную человеку пустыню и прибыть в город Фаллуджу, в 60 км к западу от Багдада, а также перевезти и сохранить все — начиная от бутылок с минеральной водой до готовой к употреблению пищи и инструментов, — потребовался не один день сложной работы служб тылового обеспечения. Всего лишь какие-то несколько сотен километров* [26]. А ведь это была несложная и, самое главное, мирная часть американской миссии в Ираке. Конечно, было глупо полагать, что география больше не играла никакой роли.

* Стоит отметить, что передовые отряды американской армии во время Первой войны в Персидском заливе приблизились к Багдаду до расстояния в 150 км. Но основная масса войск располагалась в Кувейте и Аравийской пустыне. — *Прим. авт.*